



## КАК Я СТАЛА ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ

**К**ак я начала свою литературную деятельность? Чтобы ответить на этот вопрос, надо «зарыться в глубь веков». В нашей семье все дети писали стихи. Писали втайне друг от друга стихи лирические, сочиняли вместе стихи юмористические, иногда экспромтные.

Помню как сейчас: входит самая старшая сестра в нашу классную комнату и говорит:

— зуб заострился, режет язык.

Другая сестра уловила в этой фразе стихотворный размер, подхватывает:

— К такой боли я не привык.

Тотчас все настраиваются, оживляются.

— Можно бы воском его залечить.

— Но как же я буду горячее пить? — спрашивает чей-то голос.

— И как же я буду говядину жрать? — раздается из другого угла.

— Ведь не обязаны все меня ждать! — заканчивает тоненький голосок младшей сестры.

Стихи сочиняли мы все. Конечно, и я.

Но в первый раз увидела я свое произведение в печати, когда мне было лет тринадцать.

Это была ода, написанная мною на юбилей гимназии, в которой я в то время училась.

Ода была чрезвычайно пышная. Заканчивалась она словами:

И пусть грядущим поколениям,  
Как нам, сияет правды свет,  
Здесь, в этом храме просвещения,  
Еще на много, много лет.

Вот этим самым «храмом просвещения» дома донимала меня сестра.

— Надя! Лентяйка! Что же ты не идешь в свой храм просвещения? Там сияет правды свет, а ты сидишь дома! Очень некрасиво с твоей стороны.

Допекали долго.

Таков был мой самый первый шаг на литературном поприще.

Второй шаг был таков: сочинили мы с сестрой смешную песенку о Фульском короле, пародию на песню Маргариты из «Фауста».

Решили ее напечатать.

Совсем сейчас не помню, что это была за редакция, куда мы пошли. Помню только, что над головой редактора висело на стене птичье чучело.

Это поразившее наше воображение обстоятельство отразилось в стихах:

Над редактором висело  
Птичье чучело,  
На редактора глядело,  
Глаза пучило.

Стихотворения нашего редактор не принял и все спрашивал: «Кто вас послал?» А потом сказал: «Передайте, что не годится». Очевидно, не верил, что две ис-

пуганные девчонки, которых ждала в передней старая нянюшка, и есть авторы.

Таков был мой второй шаг.

Третий, и окончательный, шаг был сделан, собственно говоря, не мной самой, а если так можно выразиться, за меня шагнули.

Взяли мое стихотворение и отнесли его в иллюстрированный журнал, не говоря мне об этом ни слова. А потом принесли номер журнала, где стихотворение напечатано, что очень меня рассердило. Я тогда печататься не хотела, потому что одна из моих старших сестер, Мирра Лохвицкая, уже давно и с успехом печатала свои стихи. Мне казалось чем-то смешным, если все мы полезем в литературу. Между прочим, так оно и вышло. Кроме Мирры (Марии), другая моя сестра, Варвара, под псевдонимом Мюргит, помещала свои очерки в «Новом времени», а пьесы ее шли в «Кривом Зеркале», а самая младшая, Елена, тоже оказалась автором нескольких талантливых пьес, шедших в разных театрах.

Итак — я была недовольна. Но когда мне прислали из редакции гонорар — это произвело на меня самое отрадное впечатление. Впечатление это я пожелала повторить и написала целый фельетон в стихах, в котором с веселой беззастенчивостью молодого языка хватала зубами за самые торжественные ноги, шествующие по усталанному вянущим лаврами пути.

О фельетоне заговорили. Кто смеялся, кто возмущался, кто ликовал. Был «бум». Редакция попросила продолжать. Большая газета пригласила сотрудничать. Остальное ясно.

*Тэффи.*

## ПСЕВДОНИМ

**М**еня часто спрашивают о происхождении моего псевдонима.

Действительно — почему вдруг «Тэффи»? Что за собачья кличка? Недаром в России многие из читателей «Русского слова» давали это имя своим фоксам и левреткам.

Почему русская женщина подписывает свои произведения каким-то англизированным словом?

Уже если захотела взять псевдоним, так можно было выбрать что-нибудь более звонкое или, по крайней мере, с налетом идейности, как Максим Горький, Демьян Бедный, Скиталец. Это все намеки на некие поэтические страдания и располагает к себе читателя.

Кроме того, женщины-писательницы часто выбирают себе мужской псевдоним. Это очень умно и осторожно. К дамам принято относиться с легкой усмешечкой и даже недоверием.

— И где это она понахваталась?

— Это, наверно, за нее муж пишет.

Была писательница Марко Вовчок, талантливая романистка и общественная деятельница подписывалась «Вергежский», талантливая поэтесса подписывает свои критические статьи «Антон Крайний». Все это, повто-

ряю, имеет свой *raison d'être*. Умно и красиво. Но — «Тэффи» — что за ерунда?

Так вот, хочу честно объяснить, как это все произошло.

Происхождение этого дикого имени относится к первым шагам моей литературной деятельности. Я тогда только что напечатала два-три стихотворения, подписанные моим настоящим именем, и написала одноактную пьеску, а как надо поступить, чтобы эта пьеска попала на сцену, я совершенно не знала. Все кругом говорили, что это абсолютно невозможно, что нужно иметь связи в театральном мире и нужно иметь крупное литературное имя, иначе пьеску не только не поставят, но никогда и не прочтут.

— Ну кому из директоров театра охота читать всякую дребедень, когда уже написан «Гамлет» и «Ревизор»? А тем более дамскую стряпню!

Вот тут я и призадумалась.

Прятаться за мужской псевдоним не хотелось. Малодушно и трусливо. Лучше выбрать что-нибудь непонятное, ни то ни се.

Но — что?

Нужно такое имя, которое принесло бы счастье. Лучше всего имя какого-нибудь дурака — дураки всегда счастливы.

За дураками, конечно, дело не стало. Я их знавала в большом количестве. Но уж если выбирать, то что-нибудь отменное. И тут вспомнился мне один дурак, действительно отменный и вдобавок такой, которому везло, значит, самой судьбой за идеального дурака признанный.

Звали его Степан, а домашние называли его Стэффи. Отбросив из деликатности первую букву (чтобы дурак не зазнался), я решила подписать пьеску свою «Тэффи» и, будь что будет, послала ее прямо в дирек-

цию Суворинского театра. Никому ни о чем не рассказывала, потому что уверена была в провале моего предприятия.

Прошло месяца два. О пьеске своей я почти забыла и из всего затем сделала только назидательный вывод, что не всегда и дураки приносят счастье.

И вот читаю как-то «Новое время» и вижу нечто.

«Принята к постановке в Малом театре одноактная пьеса Тэффи „Женский вопрос“».

Первое, что я испытала, — безумный испуг.

Второе — безграничное отчаяние.

Я сразу вдруг поняла, что пьеска моя непроходимый вздор, что она глупа, скучна, что под псевдонимом надолго не спрячешься, что пьеса, конечно, провалится с треском и покроет меня позором на всю жизнь. И как быть, я не знала, и посоветоваться ни с кем не могла.

И тут еще с ужасом вспомнила, что, посылая рукопись, пометила имя и адрес отправителя. Хорошо, если они там подумают, что я это по просьбе гнусного автора отослала пакет, а если догадаются, тогда что?

Но долго раздумывать не пришлось. На другой же день почта принесла мне официальное письмо, в котором сообщалось, что пьеса моя пойдет такого-то числа, а репетиции начнутся тогда-то, и я приглашалась на них присутствовать.

Итак — все открыто. Пути к отступлению отрезаны. Я провалилась на самое дно, и так как страшнее в этом деле уже ничего не было, то можно было обдумать положение.

Почему, собственно говоря, я решила, что пьеса так уж плоха! Если бы была плоха, ее бы не приняли. Тут, конечно, большую роль сыграло счастье моего дурака, чье имя я взяла. Подпишись я Кантом или Спинозой, наверное, пьесу бы отвергли.

— Надо взять себя в руки и пойти на репетицию, а то они еще меня через полицию потребуют.

Пошла.

Режиссировал Евтихий Карпов, человек старого закала, новшеств никаких не признававший.

— Павильончик, три двери, роль назубок и шпарь ее лицом к публике.

Встретил он меня покровительственно.

— Автор? Ну ладно. Садитесь и сидите тихо.

Нужно ли прибавлять, что я сидела тихо.

А на сцене шла репетиция. Молоденькая актриса, Гринева (я иногда встречаю ее сейчас в Париже. Она так мало изменилась, что смотрю на нее с замиранием сердца, как тогда...), Гринева играла главную роль. В руках у нее был свернутый комочком носовой платок, который она все время прижимала ко рту, — это была мода того сезона у молодых актрис.

— Не бурчи под нос! — кричал Карпов. — Лицом к публике! Роли не знаешь! Роли не знаешь!

— Я знаю роль! — обиженно говорила Гринева.

— Знаешь? Ну ладно. Суфлер! Молчать! Пусть жарит без суфлера, на постном масле!

Карпов был плохой психолог. Никакая роль в голове не удержится после такой остратки.

«Какой ужас, какой ужас! — думала я. — Зачем я написала эту ужасную пьесу! Зачем послала ее в театр! Мучают актеров, заставляют их учить назубок придуманную мною ахинею. А потом пьеса провалится и газеты напишут: «Стыдно серьезному театру заниматься таким вздором, когда народ голодает». А потом, когда я пойду в воскресенье к бабушке завтракать, она посмотрит на меня строго и скажет: «До нас дошли слухи о твоих историях. Надеюсь, что это неверно».

Я все-таки ходила на репетиции. Очень удивляло меня, что актеры дружелюбно со мной здороваются, —



я думала, что все они должны меня ненавидеть и презирать.

Карпов хохотал:

— Несчастный автор чахнет и худеет с каждым днем.

«Несчастный автор» молчал и старался не заплакать.

И вот наступило неотвратимое. Наступил день спектакля.

«Идти или не идти?»

Решила идти, но залезть куда-нибудь в последние ряды, чтобы никто меня и не видел. Карпов ведь такой энергичный. Если пьеса провалится, он может высунуться из-за кулис и прямо закричать мне: «Пошла вон, дура!»

Пьеску мою пристегнули к какой-то длинной и нудной четырехактной скучище начинающего автора.

Публика зевала, скучала, посвистывала.

И вот, после финального свиста и антракта, взвился, как говорится, занавес и затарантили мои персонажи.

«Какой ужас! Какой срам!» — думала я.

Но публика засмеялась раз, засмеялась два и пошла веселиться. Я живо забыла, что я автор, и хохотала вместе со всеми, когда комическая старуха Яблочкина, изображающая женщину-генерала, маршировала по сцене в мундире и играла на губах военные сигналы. Актеры вообще были хорошие и разыграли пьеску на славу.

— Автора! — закричали из публики. — Автора!

Как быть?

Подняли занавес. Актеры кланялись. Показывали, что ищут автора.

Я вскочила с места, пошла в коридор по направлению к кулисам. В это время занавес уже опустили, и я повернула назад. Но публика снова звала автора, и снова поднялся занавес, и актеры кланялись, и кто-то грозно кричал на сцене: «Да где же автор?», и я опять кинулась к кулисам, но занавес снова опустили. Продолжалась

эта бегодня моя по коридору до тех пор, пока кто-то лохматый (впоследствии оказалось, что это А. Р. Кугель) не схватил меня за руку и не заорал:

— Да вот же она, черт возьми!

Но в это время занавес, поднятый в шестой раз, опустился окончательно и публика стала расходиться.

На другой день я в первый раз в жизни беседовала с посетившим меня журналистом. Меня интервьюировали.

— Над чем вы сейчас работаете?

— Я шью туфли для куклы моей племянницы...

— Гм... вот как! А что означает ваш псевдоним?

— Это... имя одного дур.., то есть так, фамилия.

— А мне сказали, что это из Киплинга.

Я спасена! Я спасена! Я спасена! Действительно, у Киплинга есть такое имя. Да, наконец, и в «Трильби» песенка такая есть:

Taffy was a walesman,  
Taffy was a thief...

Сразу все вспомнилось.

— Ну да, конечно, из Киплинга!

В газетах появился мой портрет с подписью «Taffy».

Кончено. Отступления не было.

Так и осталось

Тэффи.

## ВЗАМЕН ПОЛИТИКИ

Сели обедать.

Глава семьи, отставной капитан с обвисшими, словно мокрыми, усами и круглыми, удивленными глазами, озирался по сторонам с таким видом, точно его только что вытащили из воды и он еще не может прийти в себя. Впрочем, это был его обычный вид, и никто из семьи не смущался этим.

Посмотрев с немым изумлением на жену, на дочь, на жильца, нанимавшего у них комнату с обедом и керосином, заткнул салфетку за воротник и спросил:

— А где же Петька?

— Бог их знает, где они валандаются, — отвечала жена. — В гимназию палкой не выгонишь, а домой калачом не заманишь. Балует где-нибудь с мальчишками.

Жилец усмехнулся и вставил слово:

— Верно, все политика. Разные там митинги. Куда взрослые, туда и они.

— Э, нет, миленький мой, — выпучил глаза капитан. — С этим делом, слава богу, покончено. Никаких разговоров, никакой трескотни. Кончено-с. Теперь нужно делом заниматься, а не языком трепать. Конечно, я теперь в отставке, но и я не сижу без дела. Вот,

придумаю какое-нибудь изобретение, возьму патент и продам, к стыду России, куда-нибудь за границу.

— А что же вы изволите изобретать?

— Да еще наверное не знаю. Что-нибудь да изобрету. Господи, да мало ли еще вещей не изобретено! Ну, например, скажем, — изобрету такую какую-нибудь машинку, чтобы каждое утро, в положенный час, аккуратно меня будила. Покрутил с вечера ручку, а уж она сама и разбудит. А?

— Папочка, — сказала дочь, — да ведь это просто будильник.

Капитан удивился и замолчал.

— Да, вы, действительно, правы, — тактично заметил жилец. — От политики у нас у всех в голове трезвон шел. Теперь чувствуешь, что мысль отдыхает.

В комнату влетел краснощекий третьеклассник-гимназист, чмокнул на ходу щеку матери и громко закричал:

— Скажите: отчего гимн-азия, а не гимн-африка.

— Господи помилуй! С ума сошел! Где тебя носит? Чего к обеду опаздываешь? Вон и суп холодный.

— Не хочу супу. Отчего не гимн-африка?

— Ну давай тарелку: я тебе котлету положу.

— Отчего кот-лета, а не кошка-зима? — деловито спросил гимназист и подал тарелку.

— Его, верно, сегодня выпороли, — догадался отец.

— Отчего вы-пороли, а не мы-пороли? — запихивая в рот кусок хлеба, бормотал гимназист.

— Нет, видели вы дурака? — возмущался удивленный капитан.

— Отчего бело-курый, а не черно-петухатый? — спросил гимназист, протягивая тарелку за второй порцией.

— Что-о? Хоть бы отца с матерью постыдился!..